

УДК 94(574.42)

DOI 10.37386/2687-0592-2020-10-214-219

А. С. Жанбосинова*Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, г. Нур-Султан, Республика Казахстан***Память как травма: воспоминания жертв политических репрессий в фокусе эго-документов**

Аннотация. Междисциплинарные концепты «Новой исторической науки» обусловили интерес к документам личного происхождения, что вызвало спрос на появившиеся издательские серии «Документы советской эпохи», «Повествование в документах». Микроисторический подход, предложенный немецкими, итальянскими учеными, на первый план исследовательского уровня вынес документы, созданные маленькими людьми. Благодаря смене угла зрения авансцена истории политических репрессий заговорила множеством голосов, ранее неизвестных людей. В качестве источников анализа воспоминаний жертв политического террора стали архивно-следственные материалы, отложившиеся в ведомственных архивах. **Ключевые слова:** *политические репрессии, память, воспоминания, травма, микроистория, эго-документы.*

Междисциплинарные концепты «Новой исторической науки» дали толчок новым перспективным исследовательским направлениям в изучении советской истории. В историографии постсоветского пространства наблюдается всплеск интереса к документам личного происхождения, свидетельством чему являются издательские серии «Документы советской эпохи», «Повествование в документах».

Особое внимание вызвала «мемуарно-биографическая продукция и документы, созданные маленькими людьми» [1]. Обращение к подобным источникам меняет угол зрения, дает возможность взглянуть на советскую историю, и в частности на историю политических репрессий «изнутри», «снизу», ощутить психологию террора. Ж. Пессером в 1958 г. был предложен термин «эго-документы», позволяющий понять риторику автора «Я» или «Он» [2, с. 15.], услышать рассказ человека о себе [1]. Текущая ситуация мировой историографии демонстрирует, что историки от «изучения событий» перешли к «изучению состояния» [3], а масштабная история с великими людьми отошла в сторону, дав слово неизвестной личности.

Междисциплинарное многообразие сюжетов микроисторических подходов, предложенных немецкими, итальянскими и другими историками [4–7], распахнуло личное пространство «незамечательных людей» [8]. Эго-документы как источник коммуникаций общества и власти дали почувствовать вкус и запах эпохи [9].

Теоретические концепты лингвистического, нарративного поворота представили индивидуальную историю в фокусе социальных структур и социально-пространственных полей. Опираясь на эго-документы, можно сконструировать историческое прошлое политических репрессий. Дискурс письменных обращений жертв политических репрессий предполагает когнитивную передачу информации в определенной структуре и последовательности, репрезентацию социокультурной памяти о трагическом прошлом. Индивидуальная память жертвы репрессий, семейный фрейм памяти отражает трагедию

маленького человека, оказавшегося в молохе репрессивной политики советского государства. Полагаем, что вполне закономерно совмещение исследовательского поля исторической памяти и культурной травмы в фокусе истории политических репрессий, на стыке междисциплинарных связей проблематики «*memory studies*». Персонификация истории политического террора в совокупности с коммеморативными практиками создает феномен пост-памяти на государственном уровне. Государственные регулятивы создают коллективные места памяти, определяют доступные нарративы, формируют и визуализируют образ палача и жертвы в формате репрезентации истории политических репрессий. Целеполагание указанных действий направлено на сохранение памяти о жертвах репрессий. Отметим необходимость осмысления травматической памяти, социальной травмы и ее поколенческих последствий, травматического опыта и переживаний. К критериям травматической памяти можно отнести неожиданность трагического события, кардинальность изменений повседневного бытия, невозможность изменить ситуацию, тяжелые последствия [10]. К сожалению, жертв политических репрессий – носителей травматической памяти, информантов, переживших травму, способных поделиться травматическим опытом, адаптационными практиками и стратегией выживания, практически не осталось. Поколенческая память имеет несколько уровней: первый и второй – прямые жертвы репрессивной политики, косвенные последствия испытало третье поколение, четвертое знает о трагических событиях в устной традиции.

Неизвестная личность, маленький человек, как жертва террора остался за кадром масштабности события, как статистическая единица в общей массе расстрелянных и осужденных в лагерях. Этот маленький человек арестовывался на протяжении всей эпохи политического террора по известной статье 58 УК РСФСР. Он обвинялся в участии в «контрреволюционной», «антисоветской», «националистической», «шпионско-диверсионной» организациях, он был членом партии, комсомольцем, беспартийным,

грамотным и неграмотным, спецпереселенцем, членом семьи изменника родины, служителем религиозного культа, он был подданным великой страны СССР и вне ее подданства, перебежчиком, искавшим свободу в советской стране. Источниками анализа травматической памяти жертв репрессированных могут стать архивно-следственные материалы, отложившиеся в ведомственных архивах. Они стали единственным хранилищем персональных документов, в числе которых есть собственноручно написанные письма, автобиографии и пр.

При работе с письмами использовалась предложенная методика, «подбирались письма, отражающие наиболее типичные явления, эмоционально отражающие своеобразную ситуацию» [11].

Советская власть инициировала письма-обращения, доносы, жалобы [12]. Писали все и обо всем, письма выражали политические симпатии и антипатии, их авторы жаловались и доносили. Письма поднимали комплекс проблем, связанных с бюрократией на местах, насилием периода коллективизации, с нерешенностью социальных вопросов, в том числе и социалистической законностью и пр. При этом, не доверяя власти на местах, писали в Москву, в центральный аппарат, обращаясь напрямую к Сталину, Калинин и т. д.

58-я статья УК РСФСР уравнивала гендерный вопрос, срок наказания и «высшая мера социальной защиты» не различала «врагов народа» по половому признаку. Показатель социальной стигмы – статус репрессированных – обуславливал вариативность поведения мужчин и женщин [13], что нашло отражение в письмах.

Женские письма отличаются эмоциональным накалом, насыщены фразеологическими оборотами, они менее структурированы и не столь категоричны, как мужские, в них нет резкости.

Мужские письма, как правило, логически выстраивали вероятные причины ареста. Для мужских писем в большой степени характерны сокращения слов: «след. НКВД», «р-ный НКВД» и т. п. Их письма выстраивали логику событий с опорой на обвинение, аргументируя это фактами, упоминая возможных свидетелей.

Составной частью каждого письма являлась подробная автобиография, являвшаяся идентификационным каналом связи с советской общностью. Проблемным процесс идентификации оказался для категории так называемых «бывших». Дискурс советской идентичности, носивший «манихейский характер – либо ты союзник советской власти, либо враг» [14, с. 85], обусловил поведенческие стратегии, направленные на максимальную социализацию «бывших». Пытаясь адаптироваться к правилам советского социума, они фальсифицировали документы. «Бывшие» конструировали документальное «Я», идя на подлог в классово-ориентированной анкете и автобиографии, заполняя прочие советские формуляры. Все делалось для того, чтобы соответствовать советской идентичности по «ключевому классифика-

ционному вопросу о социальном положении». Личная документация выстраивалась под обозначенные маркеры советской идентичности. Лаконичные фразы в биографии «не привлекался», «не судился», «не имею» и т. д. проверялись в ходе чисток; обман или умолчание грозили изгнанием из советского общества. Утрата социального статуса, разрыв идентификационных связей и переход в маргинальное состояние становились серьезным испытанием. Пытаясь вернуться в советское общество, принимать участие в социалистическом строительстве, «изгнанные» писали письма, дополняя их автобиографиями. Активность авторов писем объяснялась желанием противостоять тезисам обвинительной части следствия. Матрицей поведенческой стратегии стали аргументы, доказывающие «советскую» социальную принадлежность: «...Мне ставится в вину в сокрытие своего социального происхождения, которое я совершенно не скрывал, а именно: я родился в 1914 году в Баян-Аульском районе в семье скотовода-бедняка...»; связь года рождения с годом революции: «Я – Советский сын», «18 лет я воспитывался в духе коммунизма», «Я рождения 1917 года, сын и ровесник октябрьской революции»; указание на бедняцкое происхождение и отсутствие компрометирующих связей в прошлом: «Родители... не имели ни земли, ни домов. ...Из-за бедности не мог получить даже среднее образование ...В царской армии и у белых не служил, чинов и орденов не имел» [15–17]. Обязательным приложением к письмам являлись справки и ходатайства сельских советов: «Он середняк, чужим трудом не пользовался, в агитации замечен не был, политически неопасный, в чем просим освободить... как завоевателя советской власти». Эго-документы функционально выполняли роль идеологического маркера, служили идентификационной заявкой о принадлежности к советскому обществу. Содержание писем в динамике советского строительства демонстрировало попытки авторов адаптироваться к советскому новоязу [9].

Неожиданный арест вызывал шок, а унижительность процедуры обыска в присутствии свидетелей определенно оказывала травмирующее воздействие на психику человека. И это было только началом на пути последующих испытаний. Каждый арестованный пытался найти причины ареста, и каждый находил их в окружающих его людях, максимально обвиняя предполагаемых виновников: «Виновным за это является какой-то клеветник, делающий себе карьеру на ложных доносах». Человек не понимал, что и он сам, и те лица, которые якобы были виновны в его аресте, стали жертвой репрессивной машины НКВД. Человек, писавший в 1955 г.: «...Люди мстили мне и клеветали на меня, чтобы забрать меня вместе с собой...», – даже не подозревал, что те, кто «клеветал», сами погибли в ходе «Большого террора».

Травматический опыт начинался с изменения социального статуса: человек оказывался вне общества, вне семьи; прежний повседневный опыт жизни оставался за пределами его нового «камерного»

пространства. Тяжелый след в поколенческой памяти семьи арестованного оставляло ночное «рандеву» с НКВД: об этом писали в органы власти жена, дети. Наиболее болезненные воспоминания жертв репрессий связаны с пытками. М. Мусин, бывший член коллегии защитников, был арестован 2 ноября 1937 г. Ранее защищавший арестованных сам оказался арестованным. Далее травматическое воздействие на психику оказало применение физического насилия: «При допросе ко мне применяли безобразно-издевательские методы... У меня вымогали клеветать на честных людей и на себя, чтобы создать искусственно врагов против Советской власти... весь допрос сводится „Кто тебя вербовал?“, „Кого ты вербовал?“ и т. д., эти фразы заучены и записаны на стандартных бланках и повторяются в течение 4–5 суток, что сопровождается физически-невозможными мучениями, без пищи, сна, все время стоя на ногах, до сего времени я себе подобного не представлял, опухший, без пищи, и не дали воды, без сна я терял самообладание». Непрерывное избиение, пытки и унижения, десятилетний одиночный карцер являются травмирующим воспоминанием: «...Молодой человек ударил меня по лицу несколько раз кулаком, и я остался без сознания, придя в себя, я заявил, будет ли предел издевательств? ...Три раза ударил меня ногой в полость живота, от боли я закричал... Все вышеперечисленные трагические факты длились в течение целого месяца, после чего мне прочли постановление тройки об осуждении меня на 10 лет. За что, не знаю».

Находясь в статусе арестованного, М. Мусин в письменном обращении к власти выступает в качестве защитника таких же арестантов, как и он. «...Все арестованные подвергаются со стороны «следователей» вымогательствам путем применения физических, не человеческих насилий... Колхозника Курчумского района б/члена партии гр. Манабаева Уатая заставили, делать приседание, гимнастику, после чего выставили раздетого на морозе... Бывшего зав. райфо Самарского района, члена партии гр. Исхакова Батырхана избивали кулаками, привязывали за руки и за ноги на морозе...». Таких безобразных фактов не перечислить, все они подтверждаются целой сотней честных, безукоризненно преданных советской власти людей, партийных и беспартийных большевиков... [18, л. 152–153.]

Практически все жертвы политического террора испытали травматический шок, почувствовав существенную разницу между декламацией «как хорошо в стране советской жить» и несоблюдением сталинской конституции в здании НКВД: «...Следователь прибегал к еще более изощренным методам допроса – и в конце концов меня, измученного как физически, так и морально, методом грубого физического насилия, угроз расстрелом без суда и провокации довел до состояния полной невменяемости, граничащей с сумасшествием, и заставил подтвердить подпись...» Воспоминания У. Нурмагамбетова акцентируются на клеветнических показаниях бывших коллег, работавших с ним. Нелепость ситуа-

ции, по его мнению, состоит в том, что «...этих людей, как социально чуждых и преступных, в бытность зав. РОНО он разоблачил и в мае месяце 1937 года приказом Уланского РОНО, их выгнали с работы, и они были арестованы после снятия их с работы» [19, л. 105–110]. Во втором примере для У. Нурмагамбетова физическая боль отступает на второй план, добровольно-вынужденное признание вины он предполагал доказать на суде, чего не произошло. На первом плане оказалась обида, он способствовал выявлению «врагов народа», их посадили, а следом и его, вместо признания его заслуг перед родиной. Оскорбительность травмирующей ситуации усиливала переживания, погруженность в воспоминания усугубляла обиду и соответственно обостряла культурную травму.

В рамках кампании по «восстановлению социалистической законности» 1939–1941 гг. значительный поток обращений во власть составили письма жалобы жертв политических репрессий о применении к ним физических пыток. Практически все лица, прошедшие «Большой террор», получили трагический опыт физического и морального насилия.

Инокультурная среда, в которой оказались жертвы политических репрессий, обусловили формирование стратегии самосохранения, повлияв на адаптивные практики деятельности, не соответствующие их первоначальному образу жизни. Особенно ярко это проявилось в повседневной стратегии выживания репрессированных женщин как членов семей изменников родины. Термин «член семьи изменника родины» был введен в советское законодательство в 1934 г. Семьи военнослужащих, перешедших за границу, приговаривались к различным срокам и высылкам постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 г. Фраза из выписки из протокола «...являясь женой врага народа... скрывала контрреволюционную деятельность...» обвиняла в недонесении, в результате супруга подлежала высылке или отправке в лагерь.

Репрессированные женщины в большинстве своем были малограмотными домохозяйками; очень редко можно было встретить имеющих профессиональное образование. Оказавшись по воле репрессивно-административной системы в тяжелых материальных условиях, женщины стремились выжить, не просто приспособившись, адаптируясь, но и активно пробивая информационное поле прошениями-обращениями в высшие инстанции власти. «По приезду в Ермак с 1938 года и по настоящее время я работаю в колхозе „Путь Ленина“. Но здоровье мое неважное, к физическому труду я не способна, но работы все выполняю хорошо...» [20, л. 22–23].

Ярким примером попытки приспособиться к новым условиям жизни, начать работать, чтобы выжить, стала судьба Луизы Александровны Шодрон, француженки, появившейся на свет в далеком 1878 году в Париже. После смерти мужа Александра Цезаревича в 1928 г. она проживала в Сочи, там же устроила свою судьбу, познакомившись с Павловым, который был счетным работником Финотдела. Нака-

нуне своего отъезда в Сталинабад, куда он отправлялся по договору найма на два года, он предложил Луизе вступить в брак. Они уехали вместе; прожив около трех месяцев, она узнала, что в Сочи у Павлова остались жена и дети. В Сталинабаде, оставшись без средств к существованию, устроилась на должность заведующей отделом иностранной книги в Центральную библиотеку. Дополнительным источником заработка благодаря наличию педагогического образования служили частные уроки французского языка. Приговором Особого совещания в Москве в 1937 г. ее сослали на проживание в Восточный Казахстан в Шемонаихинский район, а в период «Большого террора» признали иностранной шпионкой и приговорили к высшей мере наказания [21, л. 5–34].

Женщины брались за любую работу, им приходилось содержать не только себя, но и детей — например, спецпоселенка-полька в Акмолинске жила с двумя сыновьями и дочерью, занималась там стиркой белья по найму, что позволяло ей не умереть с голоду [21, л. 17].

Для административно-сосланных женщин тяжелым испытанием стала разлука с детьми: «Просидела я в Семипалатинской тюрьме 9 месяцев, по окончании 9 месяцев меня отправили в ссылку Темир-Актюбинской области Казахстан. А детей моих двух взяли в детский дом в Свердловской области Верхотуре, а двое живут дома на Украине. <...> Я уже не молодая, мне 48 лет, я все время болею, зарабатываю очень маленькую зарплату, и с этой маленькой зарплатой нужно еще одеться, помогать своим детям, и надо кушать...» [22, л. 17–19]. Из-за своей малограмотности, повседневных семейных забот женщины не понимали, за что они терпят насилие и унижение. «Когда меня отправляли, я ничего не знала, потому что сидела девять месяцев, и мне ничего не говорили и не спрашивали, тогда я спросила начальника НКВД: за что вы меня отправляете? Он ответил: за мужа. Больше ничего я, конечно, не знаю. Я знала одно, дома работать и кормить детей, это моя обязанность» [23, л. 7–8].

Политические репрессии разрывали семейные узы: после ареста мужа вся семья оказывалась под ударом. Трагические воспоминания женщин связаны с потерей детей. В семье Ш. Юсупова было двое детей — сын и дочь, после его ареста супруга Чулпан отбывала восьмилетний срок в исправительно-трудовых лагерях. «В 1938 году я была арестована органами НКВД в г. Алма-Ате и по постановлению Особого совещания при НКВД СССР была осуждена как член семьи изменника родины. Мой муж Юсупов был арестован в 1937 году». Находясь в лагере, она узнала о смерти дочери. Сына, отправленного в детский дом, она так и не нашла, все ее поиски оказались безрезультатными [24, л. 25].

После ареста мужа судьба семьи — жены и детей — кардинально менялась. Ш. Нуралина писала: «В связи с арестом мужа и меня была окончательно погублена моя жизнь. Я потеряла все, в том числе ценное — здоровье» [25, л. 20].

Жертвы политических репрессий, некоторые — еще находясь в лагерях, некоторые — уже возвращаясь после отбытия срока заключения, сталкивались с комплексом житейских проблем. Для мужчин остро стоял вопрос семьи, которой уже не было: «В момент моего ареста в 1936 году моя семья состояла из 5 человек — одна дочь, один сын, 70-летняя мать и жена. Жена вышла за другого, моя мать умерла, сын в настоящее время служит в армии. Других близких людей у меня нет» [26, л. 82–85]. Не менее проблематичным и практически не решаемым являлись вопросы здоровья: «В 1948 году, после десятилетнего заключения, я вернулся на родину, потеряв свое здоровье. Я сейчас инвалид II группы. Болею запущенной формой туберкулеза легких и бронхов» [27, л. 67–68].

Непреодолимым препятствием для многих стал запрет возвращения на родину: «Отбыв невинно 10 лет в ИТЛ, я продолжаю быть под негласным надзором спецкомендатуры МВД, имея ограниченную зону права проживания как заклятый враг» [28, л. 99–101].

Помимо физического насилия, морального унижения, черным пятном, психологической травмой для репрессированных мужчин и женщин стала потеря семьи, потеря смысла жизни. Они приобрели трагический опыт одиночества и страха.

Запущенные в период «Большого террора» национальные операции подвергли репрессиям перебежчиков, которые в поисках счастливой жизни в свободном государстве перешли границу СССР. Некоторые из них преследовались в своей стране за революционную деятельность, другие бежали от безработицы и голодного существования, дезертировали, не желая служить в армии. Судьба каждого из них — жизненная повесть с трагическим финалом. Я. Конопко, гражданин Польши, в 1931 г. совместно с тремя товарищами нелегально перешел через границу в Советский Союз. Никем не задержанный, он сам явился в распоряжение пограничной охраны. В архивно-следственных материалах записаны мотивы его перехода: «С одной стороны, бесправное положение, в котором я находился, усиливаемое национальной травлей, я по национальности еврей, негласное за мной наблюдение как за рабочим активистом и безработица, при которой я как рабочий-пекарь не мог найти приложения своего труда. С другой стороны, привольная жизнь в Советском Союзе, о чем до нас доходили сведения, господствующее в нем положение рабочего класса и равноправие всех национальностей. Для меня, 23-летнего юноши, Советский Союз в ту пору представлялся ореолом, к которому тянулись все мои помыслы и действия. Вот почему, перейдя границу, я, не таясь, сам отыскал и явился в распоряжение пограничной охраны» [29, л. 40–42]. С этого момента начались его мытарства, выбившие его из нормальной жизни. Сначала он был направлен на поселение в Алтайский край, Чарышский р-н. «Я сразу был этим морально убит. Отдаленный глухой район, где работы по специаль-

ности не было, моя неприспособленность городского жителя к сельскохозяйственному труду и в дополнение к этому антисемитизм не в меньшей степени, чем в Польше, совершенно лишили меня здраво оценивать окружающее. Не хотелось верить, что я нахожусь в Советском Союзе» [29, л. 40–42].

Стратегией выживания в борьбе за существование Конопко выбрал не самый хороший способ. Он, самовольно покинув Алтайский край, переехал на строительство недалеко от г. Молотова (бывшая Пермь). Однако непривычность тяжелого физического труда, отсутствие работы по специальности и общее моральное угнетение привели к тому, что он стал деградировать: «...Я стал опускаться на дно... Я проигрался в карты, продал на базаре часть своего и часть выданного мне казенного обмундирования и положительно деклассировался, стал бродягой. В эти тяжелые для меня дни я готов был на всякие безрассудные для меня поступки. Вот почему я легкомысленно принял предложение одного поляка-перебежчика попытаться обратно пробраться в Польшу». За переход польской границы Конопко был задержан и осужден к заключению в лагерь на три года. «Мир заключения еще более поверг меня в уныние. Если на строительстве недалеко от Перми я был бродягой, голодный... безработный, то в лагере я очутился в уединенно стоящих на берегу р. Камы бараках и вынужденным выполнять совершенно непосильную для меня работу – выкалывать изо льда замерзшую древесину». Воспользовавшись отсутствием охраны, он покинул лагерь и вновь оказался в Алтайском крае, оттуда перебрался в Семипалатинск, где наконец-то стал работать по специальности пекарем. В 1937 г. его арестовали, обвинив в шпионаже, с заключением в лагерь на десять лет. «Но, отбыв десять долгих лет заключения, я не оставлен в покое. Выехав по отбытии наказания в 1947 году на родину в г. Лиду, я определился на работу пекарем в местечке Рожанка Гродненской области, родных я никого в живых не застал. Они были все убиты немецкими фашистами. Так как я числился без подданства, то я возбудил ходатайство о приеме меня в Советское подданство. Вместо этого в 1949 г. я был арестован и сослан на поселение в Красноярский край. Таким образом, я ныне ссыльно-поселенец с несмываемым пятном шпиона... Все мои преступления порождены той обстановкой, в которой я очутился вместо рисовавшейся в уме юноши светлой и радостной жизни в Советском Союзе. Но даже за эти вынужденные преступления я принес слишком большую и тяжелую расплату» [29, л. 40–42].

Травматические воспоминания хранят потомки репрессированных. После ареста близких их будущее имело туманные перспективы. Поколенческая память сберегала много «узелков», в числе которых были недетские испытания – публичный отказ от родства с отцом, публичные унижения, перспектива умереть с голоду. «В 1937 г. 14 сентября при культе личности Сталина забрали моего отца, и до сегодняшнего времени мы не знали, где он находил-

ся, забрали ночью, увезли. Нас выгнали с квартиры, мать не имела права нигде работать, потому что отца считали враг народа. Мать нас кормила, а нас было трое, все маленькие, работала – людям стирала, хаты мазала. Вот на это жили. Даже огород в степи мы не имели права посадить. ...У меня на иждивении находится мать Воробьева Анастасия Андреевна, ей 59 лет, она пережила очень много, потому что над нами очень издевались, с квартиры выгнали. Здоровье ее подорвано. Сейчас она больна, работать не может. Стаж имеет не полностью, право на пенсию не имеет. ...Когда началась коллективизация, отец мой вошел в колхоз, и в 1931 г. его, будучи колхозником, закулачили, нас с дома выгнали, хозяйства никакого не было, потому что все сдали в колхоз. И отца арестовали, а мы, дети, не имели права учиться, и я через газету опубликовала, что я отказываюсь от отца, а мне было 12 лет, потом мать стала хлопотать, его как красного партизана, он воевал с Колчаком, у отца была книжка красная, освободили, и он стал работать на производстве» [30, л. 50].

Арест был не просто трагедией, но и кардинальной сменой жизненной траектории и поведенческих реакций. «С момента ареста отца, работавшего директором пединститута, для нас начались все невзгоды и трудности как семьи врага народа. Боясь преследований, наша мама увезла меня к брату отца, мы сменили фамилию, все время переезжали из города в город, пока мама в 1941 году не скончалась. Я все время скитался по родственникам и знакомым, трудно описать, что мне пришлось пережить за все эти годы» [31, л. 91].

Потомки, дети репрессированных – живые свидетели тех страшных лет: «И наша семья оказалась в ту пору в положении прокаженных» [32, л. 51–52]. Меткое выражение, обозначающее статус семьи арестованных. Их боялись, их обходили, их осуждали родственники, коллеги, соседи, т. е. все знакомое с ними сообщество, при встрече с ними либо переходили на противоположную сторону дороги, либо просто не узнавали. Даже после осуждения культа личности дети жертв террора испытывали большие неприятности, заполняя анкетную графу «осужден ли кто-нибудь из родственников»: в случае положительного ответа претенденты на работу получали отказ.

Травматичность воспоминаний жертв политических репрессий демонстрирует поведенческую модель стратегии повседневного бытия в условиях заключения. Дискурс массовых воспоминаний представляет эго-конструкты коллективной и индивидуальной памяти в сочетании типичности поведенческих реакций авторов писем с неизменным набором клишированных речевых оборотов, что отмечалось Н. Козловой: «Обращение к исследованию „человеческих документов“ дает ощутить и показать, как именно по одним правилам начинают действовать люди, друг на друга абсолютно не похожие и обитающие в разных социальных пространствах» [33].

Воспоминания в фокусе обращения к власти показали, что испытали, потеряли, приобрели как жер-

твы репрессий, так и их потомки. Политический террор превратил их в лишенцев, у них отобрали семью, работу, статус советского гражданина, надежду и планы на будущее. Они приобрели страх, обусловивший их поведенческие стратегии выживания с клеймом «врага народа».

Советское общество условно разделилось на молчаливое большинство и обнаруженных «членов контрреволюционных, антисоветских, националистических, повстанческих организаций». Первая группа, парализованная ужасом, активно выявляла «законспирированных врагов», вторая, придавленная грузом мнимой виновности, пыталась оправдаться. Парадокс ситуации заключался в том, что все хотели выжить, но никто не желал слушать и слышать. Зато многие научились писать. Практика доносительства стала одной из форм стратегии приспособленчества людей и расправы с негодным человеком. Письменные обращения демонстрируют попытку авторов структурно связать разорванные нити социального статуса, идентифицировать советскость в фокусе прилагаемых документов и воззвать к справедливости.

Главным в травмирующем опыте жертв политических репрессий явилась невозможность адапта-

ции к условиям тюремного заключения и нескончаемого физического насилия. Авторы писем обращали внимание, что не смогли выдержать страшные пытки и вынуждены были подписать ложное признание. В травматических воспоминаниях это был самый тяжкий груз личной, индивидуальной травмы – добровольное лжесвидетельство ради жизни.

A. S. Zhanbosinova

Memory as trauma: memories of victims of political repression in the focus of his documents

Annotation. Interdisciplinary concepts of the “New historical science” led to interest in documents of personal origin, which caused demand for the appeared publishing series “Documents of the Soviet era”, “Narration in documents”. The microhistoric approach proposed by German and Italian scientists brought documents created by small people to the forefront of research. Thanks to the change in the angle of view, the forefront of the history of political repression has spoken with many voices, previously unknown people. The sources of analysis of the memories of victims of political terror were archival and investigative materials deposited in departmental archives.

Keywords: political repression, memory, memories, trauma, microhistory, ego documents.

Источники и литература

- Зарецкий Ю. Свидетельства о себе «маленьких» людей: новые исследования голландских историков // Учебно-научный центр визуальной антропологии и эгоистории [Электронный ресурс]. URL: <http://visantrop.rsuh.ru/article.html?id=1167089> (дата обращения: 06.08.2020).
- Дунаева Ю. Эго-документы в исторической науке XX – начала XXI в. // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 5, История: Реферативный журнал. 2017. № 3. С. 14–21.
- Голубинов Я. Эго-документы как способ конструирования личной и семейной истории: случай Петра и Михаила Герасимовых // Genesis исторические исследования. 2019. № 12. С. 1–9.
- Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екатеринбург: Урал. ун-т, 2001. 544 с.
- Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в. Москва РОСПЭН, 2000. 272 с.
- Дэвис Н. Дамы на обочине: Три женских портрета XVII века. Москва Новое лит. обозрение, 1999. 400 с.
- Репина Л. «Персональная история»: биография как средство исторического познания // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. Москва, 1999. С. 76–100.
- Пушкарева Н. История повседневностей // Теория и методология истории / отв. ред. В. В. Алексеев, Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев, Л. Е. Гринин. Москва Учитель, 2014. С. 312–335
- Савин А. Письма во власть как специфическая форма политической адаптации советских граждан в 1930-е годы // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. «История, филология». 2016. Т. 15, № 8. С. 133–145.
- Штопка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6–16.
- Попова А. Д. «Когда же она кончится, эта руководящая власть КПСС?» образ власти в сознании совет-
- ских людей во времена перестройки // Новый исторический вестник. 2015. № 43. С. 68–81.
- Письма во власть. 1917–1927: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям / сост. А. Лившиц, И. Орлов. Москва РОССПЭН, 1998. 664 с.
- Мид М. Мужское и женское: исследование полового вопроса в меняющемся мире. М.: РОССПЭН, 2004. 416 с.
- Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века. Москва РОССПЭН, 2011. 375 с.
- СГА ДП ВКО (Специальный государственный архив департамента полиции Восточно-Казахстанской области). Ф. 19. О. 2. Д. 697.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 2778.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 4227.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 812.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 921.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1953.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 3431.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1956.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1765.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1345.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1297.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 764.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 820.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 540.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 667.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2043.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 2. Д. 1377.
- СГА ДП ВКО. Ф. 19. Оп. 1. Д. 3577.
- Козлова Н. Опыт социологического чтения «человеческих документов», или размышления о значимости методологической рефлексии // Социс. 2000. № 9. С. 22–32.